

ПРОДАВЦЫ ПУСТОТЫ



*Книга Долгов.
Ларецкиъ "У Золотоу Пяльнича",
Листердам, Списки и записи,
Книга вторая,
(Прожжен дымом и угаром.
Сажжен дочерью от учиния.
Спасена лишь страница.)*

Семен Маркович

Семён Маркович
Продавцы пустоты
Серия «В начале было Слово», книга 3

<https://litres.ru/73765396>

SelfPub; 2026

Аннотация

Покажи человеку два одинаковых куска гнилого дерева. Один он бросит в печь. За второй пойдёт на костёр, радостно распевая псалмы. Разница — в одном слове, сказанном вовремя.

Кто-то должен произносить эти слова. Кто-то должен решать, какой кусок дерева станет святыней, какая луковица — дороже дома, какая идея — стоит чужой крови. Это ремесло. Древнее, чем любая религия. Тяжелее, чем любая война. И прибыльнее, чем любая биржа.

Амстердам, тысяча шестьсот тридцать седьмой год. Город сходит с ума от жадности. Люди закладывают дома ради бумажки с сургучной печатью. Мясники торгуют воздухом. Трубочисты вешаются в сараях, не сняв сапог. А в сыром подвале таверны старик вырезает из сосновой чурки деревянную свинью и ждёт, когда наверху наконец поймут, что бог, которому они молятся, — это просто луковица в грязном горшке.

Третья книга цикла «Дырка от бублика».

Содержание

Пролог	4
Документ № 1	6
Горячка на площади	7
Глава первая	9
Книга ставок	16
Глава вторая	22
Документ № 2	27
Муравьи на дороге телеги	28
Глава третья	29
Документ № 3	37
Глава четвёртая	48
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Семён Маркович Продавцы пустоты

Пролог

Из архива Грегориуса Арендса. Записано на обороте папской буллы (Рим, 1520 г.)

Люди истово верят в тяжесть тесаного камня, в непогрешимость толедской стали и в глухой звон золотого дуката, падающего на дубовый стол. Наивные. Камень крошится от времени, сталь пожирает ржавчина, а золото оседает на дне холодных океанов, утягивая за собой мертвых адмиралов.

Покажи смертному два совершенно одинаковых куска гнилого дерева. Один он без колебаний бросит в печь. За второй пойдёт на костёр сам, распевая псалмы, пока пламя лижет ему ступни. Разница — одно слово, сказанное вовемя: «Смотри, это щепка от Животворящего Креста».

Слово. Больше ничего не нужно. Ни армий, ни крепостей, ни пушек. Достаточно назвать придорожный сорняк божественным даром — и целые империи начнут пожирать сами себя.

Поэтому инструкция простая. Симону — доставить горшок. Михилу — свести баланс. Леонардусу — написать текст и не трогать запятые. Розалии — накормить всех и не

вмешиваться. Мне — проследить, чтобы никто не перепутал порядок.

Мир — послушная глина. Слово — единственный резец, способный придать ей форму. Так было в Вавилоне. Так было в Риме. Так будет в Амстердаме.

Следующий пункт повестки дня.

Документ № 1

Изъято из долговой книги харчевни «У Золотого Тюльпана», Амстердам

Январь 1637 года. Бумага пахнет прогорклым китовым жиром и дешёвым табаком. Правый нижний угол прожжён угольком от трубки.

«Я, Хендрик Питерс, трубочист гильдии святого Мартина, будучи в здравом уме и твёрдой памяти, сим удостоверяю, что передаю достопочтенному господину ван дер Мееру моё имущество: крытую повозку с железными осями, двух рабочих лошадей (гнедых, с белыми отметинами на левых ногах), медный пивоваренный чан и праздничное шерстяное платье моей жены, шитое серебряной нитью. Взамен я получаю бумагу с сургучной печатью, дающую мне неоспоримое право купить одну луковицу сорта “Семпер Августус” будущей весной. Господь мне свидетель, через месяц я буду пить французское вино из хрусталя и куплю жене бархат!»

Ниже — кривым, дрожащим почерком трактирщика, с обилием клякс:

«Трубочист Питерс повесился на дубовой балке в моём деревянном сарае в прошлый вторник, не сняв сапог. Бумагу с печатью его жена сожгла в очаге, проклиная дьявола. Долг Хендрика за три пинты тёмного эля прощаю ради спасения его глупой души. Списать в убытки».

Горячка на площади

Из дневника Корнелиуса ван дер Аарта, аптекаря из Харлема

Январь 1637 года. Страница испачкана растёртой камфорой.

«В моей лавке пахнет сушёной полынью, толчёным рогом носорога и спиртом. Честные запахи болезни и исцеления. Но сегодня, когда я открыл дверь проветрить, с рыночной площади пахнуло горячкой. Хуже, чем в чумной год.

Сегодня на торгах я видел дьявола.

Он не носил рогов и не изрыгал серу. Он был одет в безупречный гемузский бархат, а воротник его был белее первого снега. Он говорил так сладко, что мой сосед, почтенный пивовар Дирк, человек, который тридцать лет экономил на дрожжах, рухнул перед ним на колени. Дирк заложил пивоварню, дом и приданое обеих дочерей ради расписки на цветок «Адмирал Лифкенс».

Я бросился к нему. Хватал за суконный рукав. Кричал прямо в лицо: я врач, я знаю свойства трав! Луковица тюльпана не лечит лихорадку. Она не останавливает кровь. Из неё нельзя сварить похлёбку. Она бесполезна!

Но глаза пивовара были пусты. Стекланный, лихорадочный блеск. Он оттолкнул меня так, что я упал в грязь, и закричал, брызгая слюной, что завтра станет богаче короля

Франции, а я сгнию среди своих клистиров.

К вечеру с моря подул холодный ветер. Прошёл слух, что корабль из Леванта привёз тысячу дешёвых луковиц. Рынок замер. А потом рухнул.

Сейчас за окном кричат. Люди бьются головами о мостовую и бросаются в ледяную воду каналов. Они молятся, но небеса пусты. Мы сами впустили в свой дом продавцов пустоты».

Глава первая

Сотворение кумира. Амстердам, 1637

Амстердам тысяча шестьсот тридцать седьмого года пах так, что к этому запаху невозможно было привыкнуть даже за тысячелетие. Густая, липкая смесь гниющей в бочках селёдки, мокрой овечьей шерсти, торфяного дыма и кальвинистского лицемерия.

Но здесь, в полузатопленном подвале таверны «Слепой мореплаватель», к привычному городскому букету примешивалось кое-что ещё. Так пахнет толпа, когда она перестаёт быть людьми.

С низкого, затянутого седой паутиной свода мерно капала вода.

Капля. Глухой удар о земляной пол.

Капля. Колебание мутной лужи у носка моего сапога.

Я сидел на перевёрнутом пивном бочонке, зажав между коленями кусок светлой сосновой доски. В правой руке — маленький складной нож с костяной рукоятью. Лезвие с тихим шелестом снимало тонкую, пахнущую смолой стружку. Я вырезал фигурку свиньи. Короткие ножки, тяжёлое брюхо, острые уши.

Оружия при мне не было. Ни шпаги, ни кинжала, ни пистолета, который в этой сырости всё равно дал бы осечку. Шпага — это лишний соблазн. Начинаешь решать всё шпа-

гой, а потом удивляешься, почему ничего не изменилось.

Между моих грязных, заляпанных глиной сапог стоял пузатый глиняный горшок. В нём, в воняющем стоячим болотом чёрном торфе, покоилась она. Из-за неё этот пропахший рыбой город сошёл с ума.

Сморщенная, бледная луковица, покрытая сухими чешуйками. Больше всего похожая на засохшую жабу.

Над моей головой, заставляя сыпаться труху мне за воротник, мелко дрожали толстые дубовые доски потолка.

Там, в зале, ревела биржа. Не торговые ряды, где спорят из-за веса муки. Месса сектантов. Сотни мужских голосов сливались в единый гул, который то нарастал, срываясь на визг, то падал до утробного рокота. Кто-то наверху навзрыд рыдал. Кто-то бормотал цифры, как языческую мантру.

Они славили своего нового бога. И бог этот сейчас спал в грязи у моих ног.

* * *

Утром в этот самый подвал уже спускались. Двое портовых грузчиков — здоровенных, пропахших потом и дешёвым джином. У одного в руке — длинный нож для потрошения рыбы, у другого — тяжёлый портовый крюк. Они пришли забрать горшок.

Я даже не встал с бочонка. Просто перестал резать деревяшку, поднял на них глаза и вздохнул.

— Можете забирать, парни, — сказал я ровным голосом. — Только держите за края горшка. И ради всех святых, если

у вас есть хоть малейшие порезы на руках — не касайтесь земли.

Грузчик с ножом нахмурился, остановившись на полпути.
— Это ещё почему, старик?

— Потому что эта луковица вывезена контрабандой из Алеппо, — я понизил голос до шёпота, заставляя их прислушиваться. — Наш хозяин купил её у османского колдуна. Она заговорена на чёрную желчь. Тот, кто коснётся её без уплаты золотом, не умрёт. Нет. Всё гораздо хуже. У него высохнут мужские семена. Кожа пойдёт серыми пятнами, а плоть увянет, как старый пергамент. Первый вор, который пытался украсть её в Венеции, на третий день отрезал себе причиндалы от боли.

Я посмотрел прямо в расширившиеся глаза грузчика с крюком.

— Вы молодые. Вам ещё девок по кабакам мять. Берите цветок, если готовы заплатить. Я не стража, я просто наёмный сторож. Моё дело — предупредить.

В подвале повисла тишина. Грузчик с ножом сглотнул так громко, что я это услышал. В семнадцатом веке портовый босяк мог не бояться виселицы, но он панически, до утробного холода верил в сглаз, проклятия и чёрную магию Востока.

Я засунул руку в карман камзола, достал две серебряные монеты и бросил их на сырую землю.

— Возьмите серебро. Выпейте за моё здоровье. И идите с

миром, пока чёрная миазма не впиталась в вашу одежду.

Они побледнели. Ни один даже не посмотрел на горшок. Грузчик с крюком подобрал монеты, трижды перекрестился, пробормотал молитву Деве Марии и попятился к лестнице. Его товарищ исчез ещё быстрее.

* * *

Дверь подвала наверху скрипнула. Вниз потянуло ледяным сквозняком.

На пороге, брезгливо переступая через серую крысу, появился Грегориус Арендс.

Председатель выглядел так, словно только что сошёл с парадного портрета кисти Рембрандта и случайно заблудился в трущобах. Чёрный генуэзский бархат, крахмальная фреза, тонкие кожаные сапоги без единого пятнышка. Он умел скользить по эпохам, не пачкаясь в них.

Следом, спотыкаясь на скользких ступенях и тяжело дыша, в подвал ввалился Михил.

Наш бессменный бухгалтер был бледен, как чахоточный больной. Тонкие пальцы, чёрные от дубовых чернил, судорожно прижимали к впалой груди пухлую папку из телячьей кожи. Левый глаз мелко дёргался.

— Я закрываю контору, — сипло выдохнул Михил.

Он подошёл к шаткому столу и в отчаянии бросил на него папку. Завязки лопнули, из-под кожи веером брызнули листы, густо исписанные колонками цифр. Пахнуло уксусом, кислым потом и горячим сургучом.

— Грегориус, это конец! — простонал он, свесив голову.

— Моя математическая модель не выдержала столкновения с человеческим идиотизмом. Они сломали математику!

Грегориус невозмутимо снял шляпу с плюмажем, повесил её на ржавый гвоздь и достал из рукава батистовый платок. Деликатно коснулся им кончика носа.

— Успокойтесь, друг мой, — произнёс Председатель. Баритон его обволакивал, как дорогой бархат. — Мы не сломали математику. Мы просто расширили горизонты их веры.

— Веры?! — Михил вскинул голову. Голос сорвался. — Месяц назад вы поставили задачу: собрать триста тысяч гульденов живым серебром, чтобы оплатить шведские полки и не дать Габсбургам взять Рейн! Я придумал элегантный инструмент — торговлю будущим! Мы продавали бургерам право на урожай, который ещё не взошёл!

Михил ткнул пальцем в потолок, откуда сыпалась труха.

— А теперь сюда пришли плебеи! Симон, час назад мясник — вонючий городской мясник, с руками по локоть в свиной крови! — купил у меня расписку за два воза пшеницы и дубовую кровать с балдахинном! У него нет этой луковицы. У меня нет этой луковицы! Но этот кретин тут же вышел на площадь и продал бумажку суконщику за тысячу монет! А суконщик заложил мануфактуру и перепродал пивовару!

Михил ударил кулаком по столу, заставив подпрыгнуть листы с расчётами.

— Они не торгуют цветами! Они передают друг другу воз-

дух!

— Это называется «успех», мастер Михил, — Григориус мягко улыбнулся. Глаза его в полумраке блеснули молодо, хищно. Ему нравилось то, что он сделал с этим городом. — Я вчера сказал им на площади: «Господа бюргеры! Тюльпан — ваша лестница в небо! Священное право стоять вровень с патрициями!»

Председатель прошёлся по подвалу, заложив руки за спину.

— Я продал им не луковицы, Михил. Я продал им их собственную зависть. Их гордыню. И они с радостью отдали мне закладные на свои дома. Люди всегда готовы расстаться с последним за надежду стать лучше соседа.

Я сложил нож. Щелчок фиксатора прозвучал в спёртом воздухе резко.

— Ты создал секту, Гершон, — сказал я, стряхивая стружку с колен. — Очередную. Только вместо индульгенций у тебя теперь векселя. Леонардус закончил с их святыми мощами?

Из дальнего угла подвала, отгороженного штабелем пустых бочек, донёсся протяжный стон.

Там, за шатким столиком, освещённым огарком сальной свечи, сгорбился наш великий архивариус. Человек, который лично переписывал трактаты Аристотеля, сидел в нелепом голландском колпаке и скрипел гусиным пером по жёсткому пергаменту.

— Я рисую завитушки, — глухо, с хтоническим отращением донеслось из-за бочек. — Я сижу в вонючей яме и рисую красные полосочки на сертификатах. Это оскорбление логоса. Если бы Платон видел, на что я трачу каллиграфию, он бы плюнул мне в лицо.

Сверху, над нашими головами, раздался оглушительный грохот. Треск ломаемого дерева. Пронзительный женский визг, потонувший в яростном рёве сотен глоток.

С потолка, просочившись сквозь щель между досками, на мой рукав упал кусок сухой глины.

— Кажется, кто-то наверху только что понял, что верит в пустоту, — сказал я.

Я сунул деревянную свинью в карман и встал, расправляя затёкшие плечи.

Книга ставок

Из записной книжки Виллема ван Хоорна, маклера при Харлемской коллегии цветоводов

Февраль 1637 года. Книжка — карманная, в телячьем переплёте, с медной застёжкой. Страницы залиты пивом и испещрены столбцами цифр. Некоторые записи сделаны твёрдой рукой, другие — трясущейся. Последняя запись обрывается на полуслове.

Правило первое: никогда не покупай то, что продаёшь.

Это отец вбил мне в голову, когда я ещё торговал селёдкой на Дамраке. Отец торговал селёдкой сорок лет и ни разу её не попробовал. Говорил: попробуешь — начнёшь думать о вкусе, а маклер думает о цене. Вкус — для покупателя. Цена — для продавца. Смешаешь одно с другим — разоришься.

Я не ем селёдку. Я не нюхаю тюльпаны. Я не знаю, как выглядит «Семпер Августус» и чем он пахнет. Мне незачем знать. Я знаю, что в декабре он стоил четыре тысячи гульденов, а в январе — пять с половиной, а на прошлой неделе за одну расписку на будущую поставку отдали дом на Херенграхт с конюшней и двумя каретами. Дом я видел. Расписку тоже видел. Луковицу — нет. Луковица лежит где-то в земле, и мне необязательно верить, что она существует, — мне достаточно верить, что покупатель верит. А покупатель верит, потому что верит его сосед, а сосед верит, потому что

верит вся улица, а вся улица верит, потому что вся улица не может ошибаться. Это называется рынок. Рынок — это когда все одновременно правы, до тех пор, пока все одновременно не окажутся неправы.

Правило второе: продавай раньше, чем захочешь.

Отец говорил: жадность — это селёдка, которую держишь на прилавке лишний день. На вид ещё ничего. На запах — уже вопросы. Но ты держишь, потому что завтра цена поднимется, и послезавтра поднимется, и ещё, и ещё, и в какой-то момент селёдка начинает пахнуть деньгами, а деньги начинают пахнуть селёдкой, и ты уже не различаешь, и покупатель тоже не различает, и вы оба нюхаете одно и то же и называете это разными именами.

Я продал свои расписки в пятницу. Три «Адмирала», два «Генерала», один «Вицерой». Продал с прибылью в восемьсот процентов. Купил на эти деньги новые расписки — на «Семпер Августус», которого никто не видел, но все хотели. Продал в понедельник. Купил в среду. Продал в четверг. Купил — нет, не купил. В пятницу купить не смог, потому что продавцов не осталось. Все покупали. Никто не продавал. Рынок стоял, как канал зимой, — замёрз, и по нему можно было ходить, и все ходили, и каждый нёс расписку, и каждая расписка стоила больше, чем вчера, и это казалось нормальным, как кажется нормальным лёд, пока он не треснет.

Мой отец умер на прилавке с селёдкой в руке. Упал и умер. Селёдка осталась на прилавке, и её купил сосед за пол-

стейвера, и это была последняя честная сделка, которую я видел.

Сегодня — третье февраля.

Таверна «Слепой мореплаватель» набита так, что стены потеют. Четыреста человек в зале, который рассчитан на шестьдесят. Воздух — густой, тёплый, кислый, как в хлеву, только в хлеву скот молчит, а здесь скот кричит. Кричат все: суконщики, пивовары, плотники, матросы, жёны булочников, студенты лейденские, вдовы с Принсенграхт, нотариус Энгельс — тот самый, который в прошлом году заверял мне завещание и трясущейся рукой ставил печать, а сейчас стоит на скамье и машет контрактом на три луковицы «Зомершон», и лицо у него — как у человека, который увидел Бога, только Бог оказался луковицей.

Я стою в углу и записываю ставки в книжку. Это моя работа. Маклер — тот, кто встаёт между продавцом и покупателем и берёт процент за то, что сводит их руки. Руки сегодня трясутся. Я свожу трясущиеся руки и записываю цифры, и цифры прыгают по странице, как блохи на собаке, и я не успеваю, и книжка мокрая, потому что сосед пролил пиво, и чернила расплываются, и цифры превращаются в кляксы, и кляксы стоят дороже, чем цифры, потому что в кляксах — контракты, а в контрактах — дома, мельницы, лошади, платья и надежды, и всё это стекает по странице вместе с пивом и потом и оседает внизу тёмной лужей, в которой ничего уже не разберёшь.

Правило третье: не смотри покупателю в глаза.

Это не отцовское — это моё. Отец торговал селёдкой, а селёдка не плачет. Люди плачут. Я видел, как плакал трубочист Питерс, когда подписывал закладную на повозку. Не от горя — от счастья. Он верил, что через месяц будет богат. Его жена стояла рядом и гладила его по руке, и на ней было то самое шерстяное платье, шитое серебряной нитью, которое он отдал в залог, и она ещё не знала, что платье уже не её, и трубочист ещё не знал, что через месяц он будет висеть на балке в дровяном сарае, а она будет жечь в очаге бумагу с печатью, и единственное, что останется от всей этой истории, — три пинты тёмного эля, которые трактирщик спишет в убытки.

Я не посмотрел трубочисту в глаза. Я посмотрел в книжку. Записал: «Питерс, Х. Закладная: повозка, 2 лошади, чан, платье. Контракт на 1 луковицу SA, весенняя поставка». Буквы. Цифры. Чернила на бумаге. Если не поднимать глаз от книжки, всё остаётся буквами.

Наборщик не читает. Маклер не смотрит. Аптекарь не лечит. Каждый делает своё дело, и дело это — не поднимать глаз.

Но сегодня я поднял.

Вечером, когда таверна опустела и на полу валялись обрывки контрактов, и битое стекло, и чей-то парик, и воняло пивом, потом и тем запахом, который издаёт толпа, когда она перестаёт верить, — вечером я поднял глаза и увидел его.

Старик. Худой, сутулый, в грязном камзоле, с ножом в руке. Нет — не с ножом. С ножичком. Маленьким, складным, с костяной рукоятью. Он сидел на перевернутом бочонке внизу, в подвале, — я заглянул через люк, потому что из люка пахло чем-то странным, болотом и полынью, — и строгал деревяшку. Вырезал свинью. Маленькую, аккуратную, с короткими ножками и тяжёлым брюхом. Стружка падала ему на колени, и он не стряхивал, и лицо у него было такое, какого я не видел на бирже ни разу за семь лет, — спокойное. Не равнодушное. Не мёртвое. Спокойное. Как бывает у человека, который знает, чем всё кончится, и строгает.

Рядом с ним на земляном полу стоял горшок. Глиняный, пузатый, с чёрной землёй. Из земли торчала луковица — сморщенная, бледная, похожая на мёртвую жабу. Я торгую этим? Вот этим? Я заложил отцовский дом ради бумаги, которая обещает мне право на вот эту жабу?

Старик поднял глаза. Посмотрел на меня снизу вверх, через люк. Глаза были тёмные, усталые, и в них не было ничего — ни жадности, ни страха, ни надежды. Только то, что бывает в глазах у человека, который смотрел на людей дольше, чем люди смотрели друг на друга.

Он ничего не сказал. Вернулся к свинье. Стружка — тонкая, ровная, пахнувшая смолой — упала на его колено.

Я закрыл люк. Постоял. Потом открыл книжку, нашёл страницу с сегодняшними ставками и посчитал. Четыреста двенадцать контрактов за день. Восемьсот двадцать четыре

руки, которые я свёл. Общая сумма залогов — не буду писать, потому что цифра такая, что от неё тошнит, а я ещё не ужинал.

Мой процент — два с четвертью от каждой сделки. Чистая прибыль за сегодня — больше, чем отец заработал за сорок лет на селёдке. За один день. Записал. Закрыв книжку. Застегнул медную застёжку.

Правило четвёртое. Новое. Только что придуманное, здесь, на мокром полу таверны, в запахе пива и чужого пота.

Правило четвёртое: когда старик в подвале строгает деревянную свинью и не смотрит на луковицу, за которую наверху убивают, — уходи. Бери деньги и уходи. Потому что старик знает что-то, чего не знает рынок. И все остальные узнают завтра.

Завтра.

Правило пятое: нет никакого завтра.

Последняя запись — другими чернилами, другой рукой. Жена? Кредитор? Неизвестно.

«Виллем не вернулся. Книжку нашли в таверне, под скамьёй. Долги — сто сорок гульденов, не считая заклада на дом. Дом продан. Селёдочный прилавок на Дамраке — тоже. Луковиц нет. Денег нет. Виллема нет. Книжку оставляю себе — больше ничего не осталось.»

Глава вторая

Рыночное саморегулирование. Амстердам, тот же подвал

Дверь, ведущая в подвал, хрустнула. Верхняя петля вылетела из гнилого косяка.

На пол, тяжело, со свистом втягивая воздух, ввалился здоровенный детина. От него несло сырым говяжьим мясом, застарелым потом и чесноком. Кожаный фартук блестел от свежей крови. В огромной руке мясник сжимал переломанный надвое деревянный безмен с медной гирей. Глаза, налитые кровью, блуждали по полумраку.

Следом, оттолкнув его плечом, по ступеням сбежал молодой аристократ. Прежний лоск испарился. Напудренный парик съехал набекрень. Брабантские кружева на груди были вырваны с мясом. Он смердел прокисшим вином и тем резким мускусом, который источает тело в момент животного ужаса.

В правой, трясущейся руке юноша сжимал толедскую шпагу, а в левой — измятый пергамент Леонардуса. Тот самый, с красными завитушками.

— Мой «Генерал болб»! — голос аристократа сорвался на визг. Он водил острием шпаги по подвалу. — Ростовщики! Мошенники! Вы обещали мне золото! Вы клялись!

— Тише, сударь, — Грегориус не отступил ни на шаг. Он

показал пустые ладони с безупречным маникюром. — Договор скреплён печатью магистрата. Сделка есть сделка. Ваше растение в стадии созревания, нужно лишь проявить терпение...

— Какое к дьяволу созревание?! — заорал юноша. Острие шпаги дрожало в дюйме от груди Грегориуса. — На площади кричат, что в Харлеме чума! Урожай сгнил! Корабли из Леванта привезли тысячи дешёвых луковиц! Моя расписка стоит меньше, чем собачье дерьмо в канале! Кредиторы идут к моему дому! Я требую отдать мне цветок! Живой! Немедленно!

В проём лестницы, задыхаясь от давки, уже протискивались новые фигуры.

Краснолицый седой булочник с руками по локоть в засохшем тесте поднял над головой дубовую скалку. Две старухи в чепцах выли в один голос. Огромный, заросший бородой матрос китобойного флота, от которого разило ворванью и дёгтем, сжимал в кулаке железный гарпун.

Все тянули к нам трясущиеся руки со смятыми расписками. Они пришли не убивать. Они пришли за спасением.

Михил пискнул и вжался в мокрую стену, прикрыв голову папкой.

Аристократ проследил за его движением. И его взгляд упёрся вниз.

— Вот она, — просипел юноша. Зрачки расширились. Шпага бессильно опустилась. — Живая...

Он сделал неуверенный шаг к горшку между моих сапог. Матрос глухо зарычал и двинулся следом. Булочник перехватил скалку поудобнее.

Я спокойно нагнулся, поднял горшок за скользкие края и поставил его на перевернутый бочонок, под дрожащий свет свечи.

Свет упал на грязный торф и торчащую из него сморщенную чешуйчатую макушку. Тень от горшка огромной жабой легла на стену.

Я выдержал паузу. Ровно столько, чтобы повисла тишина, нарушаемая только их прерывистым дыханием и писком крыс.

— Она здесь, — сказал я. — Базовая ценность. Корень вашего богатства. Суть ваших расписок.

Я обвёл взглядом их потные лица.

— Но вас пятеро. А луковица — одна. Распилить её нельзя, сгниёт. Кому из вас я должен её отдать?

Толпа замерла. Взгляды, которые секунду назад были направлены на нас, теперь скрестились на горшке с торфом.

Грегориус не нуждался в подсказках. Он скорбно вздохнул, сложив руки на груди, как священник перед приговорёнными.

— Мой друг задаёт страшный, но математически справедливый вопрос, — пропел он. — Расписка молодого господина стоит тысячу гульденов. А ваша бумага, мастер-булочник, — пятьсот.

Грегориус шагнул к пекарю, заглядывая ему в глаза.

— Если этот юноша сейчас заберёт горшок — вы, честный труженик, не получите ничего. Кредиторы заберут ваши печи, лавки, сбережения. Вас бросят в долговую тюрьму. А ваших детей завтра выставят на мороз просить милостыню, пока этот господин будет пить бургундское в своём тёплом замке.

Лицо булочника пошло багровыми пятнами. Он со свистом втянул воздух и перевёл ненавидящие глаза на расширенный камзол юноши.

— Это почему же ему?! — хрипло выплюнул пекарь. — У него замок, шелка и слуги! А у меня семеро голодных ртов! Моя расписка выписана на два дня раньше! Цветок мой!

— Закрой пасть, плебей! — выкрикнул аристократ.

Он развернулся к толпе, загородив горшок спиной, и выставил шпагу.

— Я проткну любого, кто посмеет тянуть сюда свои грязные лапы! Цветок принадлежит дворянину!

— Ах ты щенячья кровь... — глухо прорычал китобой. Он перехватил гарпун двумя руками и пошёл на клинок, как медведь на рогатину. — Я тебе сейчас кишки на мачту намотаю, белоручка...

Им больше не нужен был Комитет — мы перестали для них существовать. Их врагами стали те, кто стоял между ними и горшком: соседи, собратья по несчастью.

Пекарь бросился на аристократа, пытаясь голыми руками

вырвать шпагу. Мясник обрушил медную гирию на затылок китобоя. Старухи с нечеловеческим визгом вцепились в лицо мясника.

В тесном подвале вспыхнула слепая свалка. Запахло кислым потом, мокрой шерстью и горячей медью свежей крови. Тела сплелись в хрипящий ком на земляном полу.

Мы с Грегориусом переглянулись. Председатель двумя пальцами поправил жабо.

— Идеально выстроенная рыночная система всегда переходит к жёсткому внутреннему регулированию, — заметил он, прислушиваясь к влажному хрусту чьей-то ключицы. — Собирайте манускрипты, Леонардус. Капитан Симон, берите наш актив. Пора покинуть этот город, пока джентльмены не поняли, что режут друг другу глотки из-за куса мёрзлой грязи.

Я подошёл к бочонку и взял горшок под мышку.

Мы поднялись по скрипучей лестнице гуськом, никуда не торопясь. Я осторожно переступал через скулящий, барахтающийся клубок бывших инвесторов. Никто из них даже не поднял на нас глаз.

Документ № 2

Служебная записка по итогам операции «Амстердамский тюльпан»

Изъято из архива М. Лившица. На полях — следы от замёрзших чернил.

От кого: Главный счетовод Комитета.

Кому: Председателю Г. Арентсу.

Тема: Списание неликвидных активов.

Довожу до вашего сведения, что фьючерсные контракты на луковицы более не могут рассматриваться как надёжный инструмент изъятия средств у населения. Ввиду неконтролируемой паники на бирже 4 февраля 1637 года, ликвидность бумаг упала до нуля.

Суммарная прибыль от операции: 312 000 гульденов (переведены векселями через Геную на оплату шведской артиллерии).

Убытки Комитета: брошена в подвале таверны мебель (1 стол, 2 бочонка), утрачены чернила Леонардуса (1 флакон, разбит в давке).

Примечание: Запрещаю впредь использовать скоропортящиеся биологические объекты в качестве базы для ценных бумаг. Это антинаучно и портит мне отчётность. В следующий раз торгуйте хотя бы медью.

Муравьи на дороге телеги

Из письма отца Игнатия, иезуита, настоятелю ордена в Рим

Февраль 1637 г. Перехвачено на границе Брабанта.

«Ваше Высокопреподобие, молюсь, чтобы это письмо миновало руки мародёров. Господь покинул Фландрию. Я пишу эти строки в трактире близ Льежа, и за окном моим не снег, а пепел сожжённых деревень. Дороги превратились в реки из ледяной глины, по которым бредут толпы калек, дезертиров и сирот. Они не просят хлеба, ибо знают, что его нет. Они просят только быстрой смерти.

Третьего дня я видел на тракте повешенных крестьян. У них изо рта торчали пучки сена — так наёмники наказывают тех, кто прячет скот.

Но самое страшное, Ваше Высокопреподобие, не жестокость людей, а их пустота. Вчера в трактир вошли трое путников. Старик с неподвижным взглядом палача, бледный писарь с трясущимися руками и сутулый книгочей. Они пили горячую воду, не замечая ни зловония, ни криков раненых ландскнехтов в углу. Они смотрели сквозь нас. Так смотрят не на живых людей, а на муравьёв, которые строят свой муравейник на дороге телеги».

Глава третья

Романтика двойной записи. Дорога через Фландрию, февраль 1637

Дороги Фландрии в феврале тысяча шестьсот тридцать седьмого года состояли из трёх вещей: ледяной глины, конского навоза и непохороненных наёмников.

Тридцатилетняя война перепахивала Европу методично, как пьяный крестьянин — чужое поле. Вдоль тракта на голых ветвях болтались почерневшие тела. Вороны здесь были жирными, размером с хорошего гуся, и даже не взлетали, когда наша телега проезжала мимо. Просто провожали сытыми глазами.

Я сидел на козлах, натянув войлочную шляпу по самые брови. Ветер с Северного моря забирался под плащ, выдувая остатки тепла. Руки одеревенели на вожжах. Я не чувствовал пальцев, но это не имело значения.

Грегориус с нами не поехал. Он ненавидел грязь. Отбыл в Париж ещё неделю назад в карете испанского посла, предварительно снабдив того парой идей о том, как насолить Ришелье.

В телеге за моей спиной, под дырявой рогожей, ехали двое. Леонардус спал, свернувшись клубком вокруг сундука с пергаменами. Он постанывал во сне, жалуясь на ревматизм, который придумал себе ещё в Средние века.

А Михил не спал.

Он сидел, поджав окоченевшие ноги, с Гроссбухом на коленях и чернильницей-непроливайкой, привязанной к поясу. Дубовые чернила на таком морозе густели, превращаясь в чёрную кашу. Михил дышал на них, согревал стекляшку дыханием, обмакивал перо и страница за страницей сводил баланс амстердамской аферы.

Губы его беззвучно шевелились, левый глаз мелко дёргался.

— Михил, — бросил я через плечо, не оборачиваясь. Телега подпрыгнула на замёрзшей колее. — Чернила кристаллизуются. Пергамент испортишь.

— Семь тысяч четыреста гульденов неучтённой прибыли, Симон, — отчеканил бухгалтер. Скрип пера не прекратился. — Пекарь. Тот самый, с дубинкой. Он бросил закладную на мельницу в подвале. Я её подобрал. Она легитимна. Оформлена по харлемскому праву. Вношу в актив.

— Мельница в Голландии, Михил. А мы едем в Париж. Ты не сможешь продать её отсюда.

— Это актив! — взвизгнул счетовод. — Он должен быть учтён! Баланс не терпит пустоты!

Я замолчал и дёрнул вожжи. Спорить с Михилом о цифрах — всё равно что перекрикивать море.

* * *

К сумеркам мулы вытянули телегу на холм. В низине, среди голых деревьев, жёлтыми бельмами светились слюдяные

окна постоянного двора «Свинья и Свисток». Граница с Брантом.

Трактир — приземистое здание из неровного камня и почерневшего дерева. Крыша местами провалилась. Из кривой трубы валит густой, жирный дым. На дворе стояло с десяток лошадей — тощих, со стёртыми спинами, с клеймами французской и испанской кавалерии вперемешку.

Я спрыгнул с козел в грязь. Колени привычно хрустнули. — Приехали. Вылезайте.

Внутри трактир гудел, как развороченный улей. В нос ударила густая вонь: кислое пиво, немытые тела, застарелая моча и палёное сало. Дым от очага разъедал глаза.

Зал был забит: дезертиры в ржавых кирасах, оборванные маркитантки с тусклыми глазами, тёмные личности в плащах, играющие в кости на серебряные пуговицы. Никто не смеялся. В углу кто-то монотонно хрипел — горячка или ножевая рана.

Мы прошли к дальнему столу у холодной стены.

За соседним столом сидела троица ландскнехтов. Заросшие, грязные, с тяжёлыми тесаками на поясах. Один, с наполовину отрезанным ухом, повернул голову. Его взгляд остановился на кожаной папке Михила.

Я посмотрел прямо в его единственный целый глаз и чуть слышно, одними губами, произнёс:

— Английская потница.

Кивнул на Михила, чьё лицо от холода и бессонницы было

землистого цвета.

— Вчера харкал чёрной кровью.

Ландскнехт замер, и отрезанное ухо его побледнело. Он торопливо отвернулся, сплюнул через левое плечо и зашептал товарищам. Через минуту они молча встали и перебрались на другой конец зала.

Михил не заметил. Он сел на грязную скамью, смахнул рукавом рыбы кости, разложил пергаменты, придвинул свечу и снова заскрипел пером.

* * *

Толстая дубовая дверь трактира распахнулась.

Внутри вместе с ледяным сквозняком и хлопьями снега вошла женщина.

Она была высокой и слишком худой, с резкими, рублеными чертами обветренного лица. Волосы жёстко убраны под серый чепец. На плечах — тяжёлый мужской плащ из грубого сукна, с подола которого на грязный пол мерно капала вода.

Её взгляд, цепкий и холодный, просканировал зал. Она вычленила в дымном полумраке белые пергаменты Михила. И направилась к нашему столу.

Она шла так, словно вооружённых дезертиров вокруг не существовало. Двое пьяных мародёров подались в стороны, освобождая проход.

Она подошла и не стала ни кричать, ни плакать, ни проклинать нас.

Она молча сунула озябшую, красную руку с побелевшими костяшками под плащ. Достала толстую тетрадь в потёртой телячьей коже. И с хлёстким стуком шлёпнула её поверх открытого Гроссбуха. Запахло мокрой шерстью и дорожной пылью.

— Мастер де Рекенмейстер?

Голос у неё был низкий, с лёгкой хрипотцой, и совершенно спокойный.

Михил вздрогнул. Перо вывело уродливую кляксу на чистом листе. Он поднял воспалённые глаза.

— Фрау... Если вы по поводу контрактов... Ликвидность... Рынок...

— К чёрту ваш рынок, — ровно отрезала женщина.

Она перегнулась через стол, опираясь красными кулаками.

— Меня зовут Катарина ван дер Вельде. Вдова суконщика из Харлема. Мой муж был идиотом. Он заложил мануфактуру, чтобы купить ваши бумажки, и его хватил удар на площади, когда вы сбежали. Я не питаю иллюзий. Вы мошенники. Но вы плохие мошенники.

Она ткнула пальцем в аккуратный столбец цифр в своей тетради.

— Вы продали то, чего у вас нет, но забыли о погодных пошлинах. Посчитали доставку от Харлема до Амстердама по летнему тарифу. Но сейчас февраль. Каналы встали. Сани и лошади. Налог гильдии на ледовый провоз и пошлина ма-

гистрата — три гульдена и четырнадцать стейверов с корзины. Вы не вписали эту пеню. Из-за вашей ошибки при конфискации списали с меня лишнее.

Она выпрямилась, заложив руки за спину.

— Можете забрать мой дом. Таковы законы вашей сделки.

Но вы ошиблись в расчётах. Вы должны мне четырнадцать стейверов. Я не уйду, пока вы не исправите книгу.

За столом повисла тишина. В углу хрипел умирающий ландскнехт.

Я посмотрел на Михила.

Счетовод сидел, замерев, приоткрыв рот, и левый глаз его впервые перестал дёргаться. Он не смотрел на её лицо. Не замечал, как вздымается её грудь под мокрым плащом.

Он смотрел в её открытую тетрадь.

— Идеальная... — едва слышно выдохнул Михил. —

Идеальная двойная запись.

Его палец, перепачканный чернилами, скользнул по её ровным строкам.

— Метод Пачоли... Дебет слева... Кредит справа... Вы заложили сезонные риски логистики в базовую стоимость залога?

— Я вдова суконщика, а не крестьянка, — сухо ответила Катарина. Но в её глазах мелькнуло удивление. — Я знаю, что сани едут медленнее баржи и требуют двойного фуража. Так вы вернёте мне четырнадцать стейверов?

В глазах Михила зажёгся свет. Нерациональный, гибель-

ный человеческий свет.

В этом грязном, залитом кровью веке, где люди убивали друг друга за кусок прелой земли, он нашёл ту единственную, кто понимал красоту правильно сведённого баланса.

— Симон, — хрипло, не отрывая взгляда от тетради, попросил Михил. — Отсыпь фрау Катарине пятнадцать стейверов из кассы. Один — за независимый аудит. И закажи ей горячего вина. У неё ледяные руки.

Я молча достал кошель и отсчитал серебро.

Бессмертие — паршивый фундамент для романа. Я видел это сотни раз. Михил начнёт скупать для неё лекарства в Лейдене. Нанимать роты швейцарцев для охраны. Попытается откупиться от Времени двойной бухгалтерией и золотом. Но Время не берёт взяток — через тридцать лет она начнёт стареть, кожа увянет. А Михил будет сходить с ума, глядя, как самый ценный актив в его жизни обесценивается каждую секунду.

— Присаживайтесь, Катарина, — Михил суетливо отодвинул для неё грязный табурет, смахнув рукавом крошки. — Скажите... а как вы боитесь себя от порчи государственной монеты при торговле кружевом?

Она недоверчиво покосилась на серебро. Присела, грея руки о кружку с кипятком.

— Я прошу выписывать векселя через генуэзских менял. Привязываю долг к весу золотого флорина, — осторожно сказала она. — Но магистрат называет это ростовщичеством.

— Они варвары! Дилетанты! — воскликнул Михил. — Это же гениально!

Он осёкся и густо покраснел.

— То есть... это мудрейший способ уберечь капитал от воровства государей, — торопливо поправился бухгалтер. — Хотите, я покажу вам таблицы, которыми пользуются венецианские дожи?

Они склонились над столом. Две головы, объединённые магией цифр посреди воюющей Европы.

Я отвернулся к окну. За мутной слюдой в темноте падал снег. Началась война, которую демиурги никогда не выигрывали.

Документ № 3

*Из тайного доноса старшего писаря магистрата Харле-
ма Йоста ван ден Берга, направленного епископу Утрехт-
скому*

*Март 1637 года. Документ так и не был отправлен. Най-
ден в бумагах писаря после его смерти от нервной горячки.*

«Вашему Преосвященству, смиреннейшему пастырю и защитнику Веры Христовой, низжайше кланяюсь и с великим трепетом дерзаю обратить Ваше просвещённое внимание на дело, о коем не решался писать три недели, ибо сомневался в собственном рассудке и молил Господа, чтобы увиденное мною оказалось наваждением.

Но наваждение не проходит.

Двадцать шестого дня месяца февраля в зале городского суда слушалось дело, каковых я, Йост ван ден Берг, переписал на своём веку более трёх тысяч, и ни одно из них не потревожило мой сон. Дело о взыскании долга. Вдова суконщица Катарина ван дер Вельде, чей муж, человек незлой, но легковёрный, прогорел на торговле тюльпанными расписками и помер от удара, должна была лишиться мануфактуры, дома и станков в пользу кредиторов, каковые суть люди известные и уважаемые в нашем городе. Судья, достопочтенный господин ван дер Хейден, уже занёс перо, дабы подписать указ о конфискации, и кредиторы уже перешёптывались, прикиды-

вая, за сколько продать станки. Это был мир, который я понимаю: есть долг, есть шерсть, есть дерево и железо. Вещи, которые можно потрогать.

Но тут вдова попросила слова.

Ваше Преосвященство, прошу простить мне долготу изложения, но я не в силах передать случившееся коротко, ибо оно не поддаётся обычному пересказу. Вдова достала из-под плаща тетрадь — обыкновенную, в телячьей коже, какие продают на рынке за два стейвера, — и открыла её на столе перед судьёй. В тетради были столбцы цифр, написанные мелким, ровным почерком, и более ничего. Ни молитв, ни заклинаний, ни символов, кои используют чернокнижники. Только цифры.

Она назвала это «италийской двойной записью» и начала говорить. Она говорила о пошлинах на ледовый провоз, каковые кредиторы не учли, хотя каналы стоят с декабря и всякому известно, что сани дороже баржи. Она говорила о порче государевой монеты и о том, что гульден января не равен гульдону ноября, ибо государь дважды обрезал серебро. Она говорила о страховых ставках для морских и сухопутных грузов, и доказывала, что луковица — не рыба и не пряность, и страховать её по морскому тарифу есть злоупотребление, подлежащее пересчёту.

Она говорила сорок минут. Я записывал и не понимал, что записываю.

Судья ван дер Хейден, человек твёрдый и не склонный к

мнительности, побледнел, отложил перо, попросил воды и начал записывать за вдовой, как школяр записывает за учителем. Кредиторы вскочили со скамей и кричали, что это колдовство и бабья алхимия, но ни один — ни один, Ваше Преосвященство! — не смог указать ошибку в её столбцах. Я проверял потом сам, трижды, при свечах, до рассвета. Ошибки нет.

Суд оставил вдове мануфактуру. Судья покинул зал, крестясь. Кредиторы подали жалобу, но я, переписывая её, обнаружил, что жалоба содержит те же арифметические погрешности, на которые указала вдова, и посему будет отклонена.

Ваше Преосвященство, я не прошу сжечь вдову. Вдова — женщина тихая, благочестивая, исправно посещающая воскресную службу. Я прошу — и на коленях умоляю — прислать учёного мужа, который объяснил бы мне, как возможно, что столбцы цифр в телячьей тетради оказались крепче закона, обычая и трёхтысячного долга. И ещё более прошу, если сие в Вашей власти, повелеть изъять и сжечь тетрадь, ибо если подобный способ войдёт в обычай и иные вдовы — а паче того, иные мужья — обучатся сей италийской двойной записи, то не останется ни долга, ни залога, ни самого понятия собственности, каковое есть столп, на коем держится христианский порядок.

Они заменяют присягу — расчётом. Закон — таблицей. А Божий промысел — балансовым отчётом.

Припадаю к стопам Вашего Преосвященства и молю о прощении за дерзость сего послания.

Вашего Преосвященства нижайший и недостойнейший слуга,

Йост ван ден Берг, старший писарь магистрата города Харлема.

Приписка на полях, другим почерком, дрожащим: "Тетрадь сжечь не удалось. Вдова выкупила мельницу".»

Тетрадь вдовы

Из личных записей Катарины ван дер Вельде, вдовы судьи из Харлема

Зима — весна 1637 года. Тетрадь в потёртой телячьей коже, исписанная ровным, мелким почерком. На полях — столбцы цифр. Между страницами засохла веточка лаванды.

Двадцатого января Хендрик пришёл домой без шапки — бобровой, которую я подарила ему на Рождество три года назад и за которую торговалась с меховщиком на Гроде Маркт полтора часа, пока тот не сдался на восьми гульденах. Хорошая была шапка, тёплая, с подкладкой из фланели, потому что у Хендрика мёрзли уши. Он заложил её за расписку на луковицу, которую никто из нас не видел.

Я спросила: Хендрик, где шапка? Он сказал: Катарина, через неделю я куплю тебе десять таких шапок. Я сказала: мне не нужно десять, мне нужна одна, та, которую я купила. Но он не слушал. У него были глаза, которых я раньше не знала,

— блестящие, как у ребёнка перед ярмаркой, только Хендрику было сорок семь лет, и он не был ребёнком.

Через три дня он заложил мануфактуру, и я узнала об этом не от него, а от соседки Хильды, которая пришла за солью и обронила между прочим, что видела Хендрика у нотариуса с бумагами. Я поставила котёл на огонь, вытерла руки, села за стол и открыла тетрадь.

Тетрадь я веду с шестнадцати лет. Мой отец был бухгалтером при гильдии суконщиков, он научил меня считать раньше, чем читать. Говорил: буквы лгут, Катарина, цифры — никогда. Левый столбец — что ты имеешь. Правый — что ты должна. Если правый больше левого — ты в беде. Если левый больше правого — проверь ещё раз, потому что наверняка ошиблась. Я записала: мануфактура заложена, двенадцать ткацких станков, запас шерсти на три месяца, дом, который мы строили вместе — всё за бумагу, на которой чьей-то рукой выведено название цветка.

Я показала Хендрику столбцы. Он засмеялся и сказал, что я считаю, как торговка на рынке, что мир изменился, что расписка на «Адмирала Лифкенса» — это не бумага, а будущее, и что будущее всегда дороже настоящего. Когда мужчина произносит слово «будущее» с такими глазами, спорить бесполезно. Я закрыла тетрадь и пошла варить ужин.

* * *

Третьего февраля я была на рынке, покупала сельдь, и услышала крик — не один голос, а много, сразу, как будто

весь город закричал одновременно. Бросила корзину и побежала на площадь, где стояли сотни людей, неподвижных, молчаливых, уставившихся на доску с ценами. Вчера «Семпер Августус» стоил пять тысяч гульденов, сегодня — сто. Под доской, прямо на мостовой, сидел толстый человек в дорогом камзоле и выл — не плакал, а выл, как собака, которую переехала телега.

Я не выла. Я стояла и считала в уме: мануфактура заложена за три тысячи, расписка стоит сто, долг — две тысячи девятьсот, дом — тысяча двести на рынке, если повезёт, станки — четыреста, если продать быстро, шерсть — двести, итого тысяча восемьсот, не хватает тысячи ста гульденов, а тысяча сто гульденов — это три года моей жизни.

На мосту через канал я нашла Хендрика. Он лежал на камнях, живой, но с пустыми глазами — апоплексический удар хватил его прямо на площади, когда он увидел цифры на доске. Двое лодочников оттащили его на берег и бросили, потому что у них были свои расписки, свои цифры, своя беда. Я тащила его домой на себе — сто восемьдесят фунтов, не считая мокрого плаща, левая сторона тела не двигалась, рот перекошен, из правого глаза текла слеза, а левый был закрыт.

Дома я уложила его, сняла сапоги, укрыла. Он пытался что-то сказать, и я наклонилась, и он прошептал: «Расписка... в кармане камзола... не потеряй...» Расписку я сожгла в очаге в тот же вечер — бумага горела быстро, секунда, и три тысячи гульденов превратились в серый пепел, который

я вымела утром вместе с золой.

Хендрик умер через четыре дня, тихо, ночью. Я держала его руку и чувствовала, как она остывает — ладонь ещё тёплая, пальцы уже холодные, запястье ещё держит тепло, а костяшки отдают его, и привычка считать никуда не девается, даже когда считать уже нечего.

* * *

На девятый день после похорон я снова открыла тетрадь. Левый столбец был пуст. В правом стояло: две тысячи девятьсот гульденов. Кредиторы уже присылали людей — вежливых, пока; через неделю пришлют других.

Я сидела за столом до рассвета. Свеча, тетрадь, чернильница и огрызок пера, которое Хендрик никогда не точил, потому что не умел. Я заточила его ножом для сыра и начала считать — не деньги, их не было, а ошибки, чужие ошибки, которые стоили мне денег.

Пошлина на провоз товара по замёрзшим каналам — три гульдена четырнадцать стейверов с корзины, а в долговой книге стоял летний тариф, один гульден, баржи и лошади, хотя каналы встали в декабре, сани стоят дороже, фураж — двойной, ледовый налог гильдии — полтора стейвера. Порча монеты — государь обрезал серебро дважды за последний год, и гульден января не равен гульдону ноября, разница четыре процента, на три тысячи — сто двадцать гульденов. Страховка на случай гибели товара — три процента для морских грузов, но луковицы не плывут по морю, они едут

по суше, ставка полтора, а мне насчитали полную. Четырнадцать таких ошибок я нашла к утру, каждая маленькая, стейвер тут, два стейвера там, но вместе — сто сорок один гильден и шесть стейверов, и это означало, что долг не две тысячи девятьсот, а две тысячи семьсот пятьдесят восемь гильденов и четырнадцать стейверов. Разница небольшая, но в ней был принцип, а принцип — это всё, что у меня осталось.

* * *

В суд я пришла в сером платье, том самом, в котором ходила на рынок. Чепец и фартук сняла, руки вымыла щёлочком, тетрадь несла под мышкой, прижав к рёбрам, как носят новорождённого.

Кредиторы сидели на скамье — пятеро, в хороших камзолах, с золотыми цепями, и смотрели на меня так, как смотрят на муху, которая села на стол посреди обеда. Судья занёс перо, а я попросила слова, и он удивился, потому что женщины обычно не просят слова — они просят пощады. Я не просила пощады. Я открыла тетрадь.

Я говорила сорок минут — про ледовый тариф, про порчу монеты, про страховые ставки для сухопутных и морских грузов, про венецианскую двойную запись, которой научил меня отец, про то, что дебет слева, а кредит справа, и если кредитор путает одно с другим, виноват кредитор, а не должник. Судья сначала хмурился, потом перестал, потом начал записывать. Кредиторы кричали — колдовство, алхимия, бабья хитрость — но ни один не смог найти ошибку в

моих столбцах, потому что ошибок в них не было.

Суд оставил мне мануфактуру, станки, шерсть, дом. Долг пересчитали. Кредиторы ушли, хлопая дверьми и проклиная итальянскую бухгалтерию.

На улице был холодный вечер, ветер с моря нёс запах соли и мокрых верёвок, и я стояла у ворот суда с тетрадью, прижатой к груди, и тряслась — сорок минут держалась, а теперь, когда всё кончилось, тряслась так, что зубы стучали. Мне хотелось рассказать Хендрику — видишь, станки работают, шерсть цела, только тебя нет, — но рассказывать было некому. Я пошла домой, затопила печь и села считать заказы на следующий месяц.

* * *

В марте я ехала по делам через Брабант и остановилась на ночь в трактире у границы — грязное место, где воняло кислым пивом и горелым салом, и за дальним столом сидели трое мужчин.

Старик с каменным лицом, которое не подходило к его рукам — руки были молодые, сильные, с мозолями, а лицо как камень, по которому тысячу лет текла вода. Рядом с ним — бледный человек поменьше, с кожаной папкой, которую он не выпускал из рук; его пальцы были перепачканы чернилами, а левый глаз дёргался. И третий — сутулый, в нелепом голландском колпаке, который что-то писал, не глядя по сторонам.

Они пили горячую воду — не пиво, не вино, а воду, в трак-

тире, где все пили, чтобы забыть, — и смотрели сквозь стены.

Я подошла к бледному с папкой, потому что мне нужен был бухгалтер — проверить расчёты по весенним поставкам кружева, — и я узнала его чернила, дубовые, хорошие, такими пишут люди, которые пишут много и считают каждую кляксу. Он посмотрел в мою тетрадь долго, потом поднял на меня глаза, и в них было что-то, чего я не видела ни у одного мужчины — ни у Хендрика, ни у отца, ни у кредиторов. Он смотрел на мои столбцы так, как другие мужчины смотрят на лицо женщины.

Он сказал: идеальная двойная запись. Я сказала: вы должны мне четырнадцать стейверов. Он дал пятнадцать — один за независимый аудит — и заказал мне горячего вина.

Старик рядом молча достал кошель и отсчитал серебро. Он смотрел на нас так, как смотрят на двух щенков, которые нашли друг друга в поле, — с усталой нежностью и знанием того, чем это кончается.

Я выпила вино, согрелась и показала бледному свои расчёты по гонуэзским векселям. Он назвал это гениальным, потом покраснел и поправился — мудрейшим. Его левый глаз перестал дёргаться. На двадцать минут, пока мы говорили о процентных ставках, он выглядел как человек, который нашёл то, что искал всю жизнь.

Я не знаю, кто они были, и не спрашивала. Они уехали на рассвете, не попрощавшись. На столе остался гульден за воду

и мелкая стружка на полу — старик, видимо, что-то строгал ножом.

Но бледный. Мне иногда кажется, что я его ещё увижу. Это глупое чувство, и я не записываю его в тетрадь, потому что в тетради только цифры. А цифры говорят: весенний заказ на фламандское кружево, если привязать вексель к весу золотого флорина и заложить ледовую наценку на зимний провоз, даст четыреста процентов прибыли за две недели.

Хендрик верил в тюльпаны. Я верю в столбцы.

Глава четвёртая

Крипта под Льежем. Март 1637

За три тысячи лет работы Комитет заседал в самых разных помещениях, и ни одно из них не соответствовало масштабу обсуждаемых вопросов. Мы решали судьбу Римской республики в прачечной. Планировали крестовые походы в курятнике. Обсуждали раскол христианской церкви в винном погребе, причём к концу заседания Леонардус так надышался парами, что перепутал анафему с анафорой, и Григориусу пришлось переписывать протокол. Крипта под полуразрушенным монастырём в окрестностях Льежа была, по нашим стандартам, даже роскошью — здесь хотя бы не воняло курами.

Воняло плесенью, мышинным помётом и бульоном. С низких, почерневших от копоти сводов мерно капала ледяная вода. На длинном каменном алтаре, который четыреста лет назад служил усыпальницей епископу Готфриду, а теперь работал столом для заседаний, была расстелена карта Европы. Карту подарил Григориусу амстердамский картограф в благодарность за какую-то услугу, связанную с ост-индскими торговыми маршрутами. Карта была хорошая, подробная, с золотым тиснением. На ней были обозначены все государства, все крепости, все судоходные реки. Поверх герцогства Пикардия лежала деревянная разделочная доска, на которой

Розалия шинковала лук.

Стол был один. Карта занимала его целиком. Розалия тоже занимала его целиком. Грегориус несколько раз пытался убедить её резать овощи в другом месте. Розалия отвечала, что другого места нет, что лук не ждёт, пока политики поделят Европу, и что если Грегориусу не нравится шелуха на Лотарингии, он может сам почистить картошку к ужину. Грегориус ни разу в жизни не чистил картошку, и Розалия это знала. Конфликт был неразрешим и длился, с перерывами, около ста лет.

У дальней стены, под статуей Девы Марии, которой иконоборцы отбили всё, что можно было отбить, оставив только скорбный силуэт без лица и без рук, полыхала железная походная жаровня. На жаровне грелся пузатый солдатский котёл. Розалия помешивала его длинным чугунным половником, и бульон булькал с тем сытым, утробным звуком, который во все эпохи означал одно и то же: кто-то заботится о том, чтобы остальные не умерли с голоду. Это было важнее любой карты, но Грегориус никогда этого не признавал, а Розалия никогда не требовала признания, потому что бульон не нуждается в одобрении Председателя.

Сам Председатель стоял во главе алтаря, заложив руки за спину, и даже здесь, в сырой земляной дыре, выглядел так, словно через пять минут ему предстояла аудиенция у папы. На его ботфортах не было ни единого пятна. Я ни разу не видел на обуви Грегориуса ни единой отметины, включая тот

случай, когда мы по колено бежали через болото под Аррасом. Я подозревал, что у него был отдельный контракт с грязью — из тех, которые Михил проводил по статье «представительские расходы».

— Голландский транш можно считать завершённым, — негромко начал Грегориус. Акустика крипты превращала его баритон в голос пророка, вещающего из пещеры, и Грегориус, разумеется, знал это и выбирал помещения для заседаний с учётом акустики, как другие выбирают залы для концертов. — Мы изъяли из их экономики излишки капитала и перенаправили на оплату шведских рейтар, которые удерживают Рейнский коридор. Но этого недостаточно. Нам нужна ещё пара лет полноценной войны, чтобы ослабить Габсбургов и не дать Франции заключить мир.

Пара лет полноценной войны. Он произнёс это с той же интонацией, с какой заказывают два локтя сукна у портного. Грегориус всегда говорил о войнах, как о расходных статьях: столько-то лет, столько-то армий, столько-то городов, которые нужно сжечь, чтобы бюджет сошёлся. Люди в его бюджетах не фигурировали. Люди были средой, в которой работал Комитет, — как вода для рыбы или воздух для птицы. Необходимой, но не заслуживающей отдельной строки.

— Розалия! — бросил он, не оборачиваясь. — Убери дичь с Лотарингии. Я не вижу границ Империи.

— Это не дичь, Гершон, это лук, — Розалия смахнула шелуху на пол. — И границы Империи ты переживёшь, а вот

ужин без лука — не переживёшь. Вы довели Европу до того, что приличного фазана не сыскать на сто лье вокруг. Ешьте брюкву и скажите спасибо, что я нашла к ней соль.

Грегориус двигал армии. Розалия двигала кастрюли. Три тысячи лет я наблюдал за этим поединком и так и не понял, кто побеждает, но подозревал, что Розалия, — потому что армии приходят и уходят, а ужин нужен каждый день.

Из тёмного угла за бочками донёсся скрежет гусяного пера по пергаменту. Там, в своём вечном голландском колпаке, сгорбившись над шатким столиком, сидел Леонардус и переписывал набело протокол амстердамской операции. Протокол полагалось вести по форме, утверждённой Комитетом ещё в эпоху Маккавеев, — с номером заседания, перечнем присутствующих, повесткой дня и особыми мнениями. Леонардус вёл протоколы полторы тысячи лет и считал каждый из них личным оскорблением, потому что его каллиграфия, которой он когда-то переписывал трактаты Аристотеля, уходила на документирование того, сколько гульденов мы выручили за продажу бумажек на несуществующие цветы.

— Грегориус, — произнёс он, не поднимая головы. Перо продолжало скрипеть. — Янсенисты.

— Что янсенисты?

— Листовки из Лувена. Третий день читаю. Последователи епископа Янсения из Ипра проповедуют предопределение. Судьба решена Богом заранее. Никакие дела, никакие индульгенции ничего не изменят. Благодать дана избран-

ным, остальные обречены.

Он оторвал перо от пергамента и поднял на Грегориуса воспалённые глаза.

— Ты понимаешь, что это значит? Они говорят людям: не покупайте. Спасение нельзя купить. Оно либо есть, либо нет, и от вас это не зависит. Они обесценивают товар, Грегориус.

В крипте стало тихо. Было слышно только капель со свода, бульканье бульона и скрип пера Михила, который сидел на перевёрнутом бочонке в дальнем углу и продолжал сводить баланс амстердамской операции, не обращая внимания ни на янсенистов, ни на судьбу Европы, ни на запах подгорающей брюквы. Михил не поднял бы головы, если бы в крипту вошёл сам Янсений в сопровождении архангела Гавриила, — сначала нужно закрыть квартал.

Грегориус некоторое время молчал, постукивая кончиками пальцев по карте. Пальцы его лежали на Пикардии, рядом с луковичной шелухой, и в полумраке это выглядело так, будто он перебирает провинции, как чётки, решая, какую из них принести в жертву следующей.

— Или это подарок, — произнёс он.

— Подарок, — повторил Леонардус без вопросительной интонации. За полторы тысячи лет совместной работы он научился распознавать интонации Грегориуса, и когда Председатель говорил слово «подарок», это обычно означало, что кто-нибудь сгорит.

— Подумай, Леонардус. Янсенисты проповедуют покор-

ность. Всё решено заранее. Человеческая воля бессильна. Солдаты, которые верят в предопределение, не поднимают мятежей. Дворяне, которые верят в предопределение, не плетут заговоров. Они сидят и ждут, пока Бог решит за них.

Грегориус обвёл нас взглядом. Мне этот взгляд не понравился. Это был взгляд человека, который только что увидел новый рынок.

— Дадим учению два-три года свободного хода. Пусть растёт. Пусть проповедуют в Париже, в Лувене, в Пор-Рояле. А когда оно заразит достаточно голов, когда дворянство привыкнет уповать на небесную волю вместо земной, — мы натравим на них Ришелье. Кардинал раздавит их как еретиков, конфискует имущество. Комитет получит свою долю с конфискации.

— Вырастить веру и продать её уничтожение, — сказал Леонардус. Не спросил — констатировал, как констатируют диагноз.

— Мы всегда так делали, — ответил Грегориус.

— Не всегда. Не с верой, в которой есть зерно.

Розалия перестала помешивать бульон. За шестьсот лет я мог пересчитать по пальцам случаи, когда Розалия прекращала мешать бульон. Чума в Авиньоне — не прекратила. Пожар в Праге — не прекратила. Тот случай, когда Михил объявил, что мы банкроты, — не прекратила, только добавила в котёл лишнюю щепотку соли, потому что в трудные времена еда должна быть солёнее. Сейчас половник замер в

её руке, и от этого в крипте стало тише, чем от любых слов, потому что молчание Розалии было весомее, чем речи Григориуса, — просто потому, что она молчала реже.

— В каждой вере есть зерно, Леонардус, — сказал Григориус. Голос стал мягким. Когда голос Григориуса делался бархатным, это означало одно из двух: либо он прав и знает это, либо он неправ и знает это тоже. Отличить одно от другого за три тысячи лет я так и не научился. — Иначе она не прорастает. Наше дело — не сортировать зёрна. Наше дело — пахать поле.

Леонардус ничего не ответил. Он снял колпак, потёр переносицу, надел обратно. Опустил голову к пергаменту и снова закричал пером. Линии, которые перо оставляло, были неровными, и для человека, который полторы тысячи лет гордился своей каллиграфией, это было равносильно крику.

Розалия взялась за половник, и бульон забулькал. Михил перевернул страницу Гроссбуха и вписал в новую колонку: «Янсенизм — потенциальный актив. Оценка — предварительная. Требуется созревания. Срок — 2–3 года. Предполагаемая рентабельность — уточняется». Он ещё не знал, сколько это будет стоить, но он уже завёл на это строку в балансе, потому что всё, что существует, должно быть учтено, а то, что не учтено, не существует.

Григориус повернулся ко мне.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.